

У моего первого возлюбленного желтые зубы. Мне два года, два с половиной, и я смотрю на него во все глаза. Он пробирается сквозь зрачки прямо в сердце маленькой девочки и там устраивает себе нору, дом, логово. Мой первый возлюбленный и сейчас там, в эту самую минуту, пока я с вами тут разговариваю. Никто так и не сумел с ним сравниться. Никто не сумел проникнуть настолько глубоко. Я впервые влюбилась, когда мне было два года, — в самое благородное существо из всех возможных: после ни один не сможет с ним тягаться, никто и никогда не займет его места. Мой первый возлюбленный — волк. Настоящий волк, с мехом и запахом дикого зверя, с зубами, желтыми, как слоновая кость, с глазами, желтыми, как мимоза. Отблесками желтых звезд на горе, поросшей черной шерстью.

Мои родители с криком выскакивают из фургона, сейчас ночь, другие фургоны один за другим освещаются, выходят все: клоун, наездница, жонглер, женщины, другие

дети, в ночных рубашках, в пижамах или полуголые, все зовут меня, опускаются на корточки и заглядывают под грузовики — посмотреть, а вдруг я там спряталась, заигравшись, да так и уснула, такое уже не раз случилось. Они расходятся по городской площади, снова зовут, уже даже не зовут, а кричат, в соседних домах начинают зажигать свет, люди злятся, возмущаются тем, что кто-то нарушает тишину, грозятся вызвать жандармов. Находит меня моя тетушка. Она подбегает то к одному, то к другому, умоляет всех замолчать, показывает жестами, чтобы бесшумно следовали за ней. И вот цирк в полном составе приближается к клетке: дверца приоткрыта, я лежу на соломе, позолоченной от мочи, глаза закрыты, детская головка покоится на брюхе волка. Я сплю. Сплю невинным безмятежным сном.

Волк был родом из польских лесов. Его выставляли на показ, чтобы завлекать зрителей, пока идет установка шатра. Ни в одном номере он не участвовал. Волки дрессуре не поддаются. Люди приводили детей взглянуть на черного принца из волшебных сказок, на надменного зверя. Им не раскрывали правды о том, что волк этот безобиднее кролика, что наездница кормит его с руки и что в этой горе из меха и звезд нет ровным счетом ничего страшного — даже ворчливого волчьего рыка ни разу никто от него не слышал. Над клеткой повесили табличку, где красными буквами написали: волк

из краковских лесов. Табличка пугала людей куда больше, чем само животное, спящее в глубине клетки. Но они были довольны — как и предполагалось, большего им не требовалось. Мы боимся названий. То, чему нет названия, — это для нас ерунда, этого вообще не существует.

Итак, сбежались все без исключения — и стоят полукругом перед картиной «Девочка и волк». Ладно, ничего ужасного не происходит, но все же существуют границы дозволенного, мой отец приближается, входит в клетку, и, когда наклоняется, чтобы подхватить меня на руки, волк поднимает голову — одну только голову, живот и лапы остаются неподвижны, как будто он боится меня разбудить, — и впервые в жизни вдруг рычит и оскаливает свои пожелтевшие зубы. Отец предпринимает еще одну попытку, волк рычит громче и отчетливее, скалится, теперь обнажая и десны. Отец отступает, возвращается к остальным. Они советуются, раздумывают. Укротитель говорит: это моя работа, давайте пойду я. Та же реакция — оскаленная пасть. Они решают подождать. В полной тишине проходит час, другой, третий. Толпа не расходится, все стоят перед клеткой, дрожа от холода, и ждут, когда волк уснет. Эта сцена длится до самого утра. Волк до рассвета стережет мой сон. А когда моей кожи нежно касаются первые лучи холодного света и я открываю глаза, потягиваюсь и начинаю подниматься на ноги, волк осторожно отстраняется и удаляется в другой

конец клетки, чтобы предаться заслуженному отдыху. Я выхожу не сразу. Смотрю на остальных, стоящих за решеткой, разглядываю их бледные лица, смеюсь и напеваю, отдохнувшая и полная сил после безмятежного сна. Меня хватают, дважды шлепают по попе и на неделю запирают в фургоне.

С тех пор за мной присматривают. По десять раз на дню проверяют замок на клетке. Запретить мне часами сидеть перед клеткой они не могут. Стоит им ослабить бдительность, как я тут же просовываю между прутьев руки и позволяю волку их лизать. По вечерам перед сном отец непременно должен отнести меня, уже одетую в пижаму, к клетке, чтобы я могла несколько минут посмотреть в глаза цвета желтого солнца, горящие в чернильной ночи, податься вперед и раствориться в них.

Волк умер неподалеку от Арля. Мне было восемь лет. Мне сообщили о его смерти как могли осторожно — так, наверное, оповещают генерала о серьезном поражении его войск. Я ничего не сказала. Наш цирк остановился не доезжая до Арля, на свалке, расцвеченной маками. Мужчины достали лопаты, и я, возглавив шествие, выбрала самый окровавленный маками уголок, там вырыли яму, я повздорила с мамой, в конце концов она сдалась и мне уступили: в яму положили мою пижаму — завернули в нее волка.

Еще не видя ее лица, я уже ловлю запах. Еще не почувствовав запаха, слышу звук шагов по гравийной дорожке. Это шаги важной дамы: туфли на шпильках, походка решительная, нервная, цок-цок, цок-цок. А потом — тишина, аромат фиалок и белого табака, ее лицо, склонившееся над моим, и хриплый голос, в глубине которого угадывается улыбка: что ты тут делаешь, малышка?

Тут — это в восьми или пятнадцати километрах от Арля. Мой волк постоит чуть выше по реке. Или чуть ниже. Я шла несколько часов, но так и не отыскала свалку с маками. Вышла вечером, после представления. Маме сказала, что в эту ночь, первую после смерти волка, я хотела бы поспать в фургоне у наездницы. Из нашего фургона я вышла в пижаме — в новой пижаме, потому что старая была теперь под землей. Поцеловала родителей, спустилась по двум ступенькам, закрыла дверь осторожно, чтобы не разбудить близнецов. Сделала вид, будто

иду к наезднице. Никто на меня не смотрел. Все были уже в постелях или перед телевизором. Я уселась за клеткой львов и стала ждать: час, два. До глубокой ночи. Когда я отправилась в путь, в пижаме и домашних тапочках, львы спали. Цирк расположился на окраине Арля, и через километр я уже оказалась в сельской местности. Дел у меня было всего-то на полчаса: попрощаться с волком и украсить его могилу ворохом цветов и фруктов.

Из-за того, что небо было угольно-черным, цветы я смогла собирать только придорожные и не такие роскошные, какие себе представляла. Что же до фруктов, то их я воровала в садах, мимо которых проходила, и всякий раз это сопровождалось громким собачьим лаем.

Умершим предстоит долгий путь. Им необходима еда. Я не хотела, чтобы мой волк питался одними лишь маками. Я не сомневалась: все, что растет на моем пути, придаст ему сил.

Первыми устали руки. Мое подношение становилось все тяжелее и тяжелее. На входе в деревню одуванчики, персики и маргаритки оттягивали руки так, будто были отлиты из свинца. Я приняла решение передохнуть, перебралась через ограду и улеглась на каменной скамье, после того как окинула взглядом дом: ставни закрыты,

собак нет, можно спокойно поспать здесь немножко. На этой скамье она меня и нашла.

Что ты тут делаешь, малышка? Прежде чем ответить, я внимательно вглядываюсь в ее лицо. Толстая дама. У толстущек всегда самые милые лица. Я смотрю в ее миндалевидные глаза, на ее фарфоровые щеки и отвечаю, не слыша собственного голоса: меня зовут Прюн. Прюн Армандон. Вы не могли бы мне подсказать, где я нахожусь? Наверное, случилось то же, что и той ночью: я хожу во сне, это часто со мной бывает, отец мне рассказывал, мы живем с ним вдвоем, будьте добры, сообщите ему завтра, сегодня его нет дома, отец работает, он сейчас в дороге. Она улыбается, бросает беглый взгляд на цветы и фрукты, кучей сваленные на скамье рядом с моей головой, как будто подушка. Пижама на мне подтверждает мою историю, и женщина верит. Она берет меня за руку и ведет в дом. Ты уверена, что с твоим отцом нельзя связаться прямо сейчас? Да, уверена. Мой отец — водитель грузовика. Он возит животных на бойню. Сегодня утром уехал в Испанию за быками. Сейчас он, скорее всего, в Бельгии. Завтра вернется. Мы живем на улице Четырех Роз, рядом с мэрией в Арле. Я, наверное, далеко забрела во сне, я очень устала, можно я переночую сегодня у вас?

Меня будит птица. По крайней мере, мне кажется, что это птица. А потом я замечаю: птица говорит по-немецки, очень странно. Птица — это Шуберт. Шуберт порхает по всему дому. Без остановки залетает в каждую комнату. Я выхожу из спальни, хозяйка дома ведет меня на кухню, готовит мне завтрак. Я позвонила в жандармерию, попросила, чтобы они предупредили твоего отца, они мне перезвонят. От нее пахнет одеколоном и все тем же белым табаком. Она говорит точно так же, как поет птица: без остановки. Я зачарованно слушаю не слушая. Я уже поняла: людей любишь либо сразу, либо никогда. Ее я полюбила сразу. Она медсестра. Она нашла меня в своем саду, когда возвращалась со смены. Она всем без разбору делает уколы днем, а в экстренных случаях и по ночам. Деньги за уколы обращаются в пластинки. Дом весь оборудован: Вагнера ставят в гостиной, и золото Рейна тут же заполняет спальни, кабинет и гостиную благодаря колонкам, которые спрятаны в каждой комнате. Так, объясняет она, я хожу, ем, сплю и живу под эту музыку. У других-то в доме есть кошки или мужья. А у меня — Вагнер, Равель и Шуберт. Вездесущие и проворные, как кошки. Впрочем, муж у меня тоже есть, настоящий, пойдем покажу. Она берет меня за руку и подводит к приоткрытой двери: там спальня с очень высокой кроватью, накрытой красным одеялом, а под одеялом — очертания тела. Она приглашает меня войти в комнату. Ты его не разбудишь, он принял

успокоительные и раньше двух часов дня не поднимется. Я подхожу поближе, мне немного страшно. Я вижу лицо, вдавленное в подушку. Поспешно возвращаюсь в коридор. Медсестра смотрит на меня так, будто сделала мне самый прекрасный подарок на свете. Понимаешь, малышка, это он привил мне вкус ко всей этой музыке. Он — кондитер, сейчас на пенсии. Я встретила его во время обхода, он был одним из моих первых пациентов. У нас оказались похожие профессии: мы заботились о людях, он был рядом, когда они смеялись, я — когда они плакали. Он страдал меланхолией. Ты знаешь, что это такое — меланхолия? Ты видела солнечное затмение? Вот это меланхолия и есть: луна, которая заслоняет сердце, и сердце, которое больше не светит. Ночь среди белого дня. Меланхолия — это слабость и темнота. Он излечился наполовину: тьма ушла, но слабость осталась. Муж создавал великолепные торты, настоящие соборы из шоколада. Он до сих пор иногда печет их для меня. Если ты останешься у нас до вечера, я попрошу его испечь для нас слоеный торт. Знаешь, малышка, кондитерское дело и любовь очень похожи: для обоих важна свежесть и легкость, а еще — чтобы все ингредиенты, даже самые горькие, доставляли удовольствие.

Я понимаю не все, что она мне говорит. Точнее, я вообще ничего не понимаю, я слушаю ее голос, сквозь который

пробиваются птицы, и вдруг хохочу. Она смотрит на меня не удивленно, а даже радостно.

Перезванивают из жандармерии. Никакого Армандона в адресной книге нет, нигде нет. Я молчу, хмурюсь. Мне так хотелось бы остаться тут еще на несколько часов, с этими немецкими птицами. Я впервые в жизни слышу такую музыку. *Lieder**. В этом рокоте можно прямо разгуливать. В нем ты свободен, весел, и никакая там луна не заслонит твое сердце.

Родители наконец обнаружили мою пропажу. Один звонок в жандармерию — и вот у них уже есть адрес медсестры, и цирковая труппа, отправившаяся было в следующий город, поворачивает назад и въезжает на улицы деревни. Они звонят в дверь, входит мой отец, говорит в прихожей с медсестрой, раскрывает ей мое настоящее имя, молча берет меня на руки, благодарит медсестру и затем забрасывает меня в фургон, все так же молча. Мне не суждено попробовать слоеный торт от меланхоличного кондитера.

Я так с тех пор и не попала в окрестности Арля. Я знаю: мертвые не где-то там, где смерть, я знаю: мертвые — в том мире, который от нашего отделяет лишь тонкая

* Песни, романсы (нем.) — Здесь и далее примечания переводчика.

завеса света, и иногда я вижу, как в щель сияющей портьеры просовывается волчья голова, я улыбаюсь и в этом золотистом свете заглядываю в желтые глаза.

Убегать я начала после смерти волка. Так, по крайней мере, утверждают мои родители. Я же думаю, что страсть к побегам у меня появилась гораздо раньше. Просто первое время ее никто не замечал. Часами любоваться тлеющим огнем волчьих глаз — все равно что бежать на край света. И сегодня, в этой маленькой комнате с белыми стенами, если мне хочется пуститься в дорогу, я подхожу к окну и долго смотрю в небо — как можно дольше, пока не распознаю в нем нечто, отдаленно напоминающее тепло и нежность волка. Я и в лица своих любовников всматривалась как в этот кусочек неба. И всякий раз искала в них одно и то же: только волк в человеке вселяет в меня спокойствие. Я знаю, что творилось в Польше в тысяча девятьсот сороковом — тысяча девятьсот сорок пятом. Мне рассказывала об этом бабушка: у каждого свои сказки на ночь, своя Синяя Борода. Я знаю, как они поступали с евреями, цыганами, гомосексуалами и остальными — это могли сделать только люди, ни один волк на такое не способен.

На земле живет три человеческих племени: племя кочевников, племя оседлых и дети. Я помню своих братьев-детей и своих братьев-волков, я по-прежнему одна из них по мечтам и по крови.

Итак, я начинаю рождаться к двум — двум с половиной годам, в колыбели у волка. Что происходит до этого — не знаю, не могу знать. До этого я выжидаю. Обо мне заботятся родители, дают мне сколько надо молока, хлеба и улыбок. Когда я говорю «родители», имею в виду не только отца и мать. Мой отец — разнорабочий в цирке. У него мускулистые плечи, сильные запястья и черные ногти: когда мне хочется вспомнить его, первым в воображении всплывает не лицо, а плечи, запястья и руки: все то, что нужно, чтобы носить меня — едва ли бóльшую тяжесть, чем огромные разноцветные мячи, которые вращаются под лапами у медведя. Отец всегда потный, вечно копается в моторе, лежа под кабиной грузовика, или движется будто призрак под сложенной тканью шатра, постоянно таскает ящики, покрывающие, доски. Я для него отдых. Устав поднимать бесчисленные тонны всякой всячины, он смеясь подхватывает меня, подбрасывает в воздух мое сердце весом несколько граммов, ловит уже у самой земли и оживляет поцелуями, сладостно горькими, пропитанными потом. А вспоминая маму, я слышу ее смех. Ее смех перелетает от фургона к фургону. Чудо-птица. Да, это так: смех моей матери,

откуда бы ни раздавался, наполняет собою весь мир — подобное под силу лишь птичьему пению, что разом оживляет целый лес: от земли, усыпанной коричневой листвой, до неба, перепачканного серо-голубым.

Мать моя безумна, так я думаю. И желаю всем детям на свете, чтобы у них были безумные матери, это — лучшие матери, они как никто понимают дикие детские сердца. К моей маме безумие пришло из Италии, ее первой страны. В Италии все, что внутри, выносят наружу. Белье ли надо посушить или душу облегчить — они всё вывешивают на веревку, натянутую между окон, и по несколько раз на дню перетряхивают и перебирают на глазах у соседей, в бесконечной опере криков и смеха. Со стороны кажется, будто им весело, но это лишь со стороны. Итальянцы печальны, они так усердно имитируют жизнь, что не могут любить ее по-настоящему, от них пахнет смертью и театральностью — так говорит отец, когда хочет разозлить маму. Страна моего отца — ее названия я не знаю. Страна моего отца — молчание. Мой отец — воплощение всех мужчин, которые возвращаются вечером домой. Язык за зубами. Ни слова не вытянуть. Мой отец похож на волка: огонь, который бежит по его венам, до глаз добирается, но до губ — никогда.

Моя мать похожа на кошку, на воробья, на плющ, на соль, на снег, на цветочную пыльцу. Наездник влюблен в мою

мать. Клоун влюблен в мою мать. Укротитель влюблен в мою мать. В этом таборе все влюблены в мою мать, и она не возражает, ведь нет лучшего способа удержать рядом с собой моего отца, чем сообщать ему об этих пожарах, что пылают повсюду. Любовь очерчивает круг, похожий на арену цирка: под ногами — опилки, по ним мягко ходить босиком и они поблескивают под красной парусиной, раздуваемой ветром. Круг предельно прост: чем больше вы любимы, тем больше вас будут любить. Весь фокус — в самом начале: влюбить в себя в первый раз. Очень важно об этом не думать, не добиваться и не хотеть этого. Быть безумной, довольствоваться своим безумием, смеяться сквозь слезы, плакать сквозь смех, и в конце концов мужчины придут, потянутся на просеку безумия, прельстятся той, которая вовсе не стремится никому понравиться. И как только дело в шляпе, вы кружитесь и танцуете в этом круге любви и, чтобы не потерять равновесие, опираетесь на мужа, пока тот внимательно обводит круг глазами, не говоря ни слова.

Эти двое, которых я вам описываю, — лишь часть моих родителей. Бедные семьи оседлого племени, я всегда находила вас жалкими, жалкими ну просто до слез. Один отец и одна мать — как же этого мало. Для того чтобы сопровождать ребенка в плавании по морю его детства, родителей должно быть не меньше десяти или даже

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru